

Вот чего нет ни у Гете, ни у Байрона, ни у Шекспира, ни у Данте» [3, с. 124, 125].

Тем не менее Мережковский видит общее у Пушкина и с Шекспиром, и с Гете, и с Байроном. С Шекспиром Пушкина сближает способность находить «в страстях самых низких» черты героизма и царственного величия» [3, с. 139]. Оба «дерзают испытывать примиряющую власть гармоний». Но если «по силе огненной страсти автор „Египетских ночей“ и „Скупого рыцаря“ приближается к Шекспиру», то «по безупречной кристаллической правильности и прозрачности формы Пушкин родственнее Гете» [3, с. 150].

Параллели, проводимые Мережковским между Пушкиным и Гете, многообразны и содержательны. Но критик акцентирует и различия между обоими писателями, обращает внимание на поправки, которые необходимы при их проведении. Пушкин не оставил «одного главного произведения, в котором поэт сосредоточил бы свой гений, сказал миру все, что имел сказать... как Гете в „Фаусте“. Наиболее совершенные создания Пушкина не дают полной меры его сил...» [3, с. 95]. Поэзия Пушкина — «отрывки», «обломки мира, создатель которого умер», дающие столь же недостаточное представление о том, каков мог бы быть этот мир, как написанное Гете до того, как ему исполнилось 37 лет. Но дело было не только в безвременной кончине: Пушкин не мог бы создать «ничего, равного „Фаусту“ и «по условиям русской литературы». Кроме этого внешнего, исторического Мережковский усматривает у Гете «и великое внутреннее преимущество перед русским поэтом. Как не ясна и ни проникновенна мысль Пушкина, она не озаряет всех бездн его творчества. Художник в нем все-таки выше и сильнее мудреца... То, что Пушкин смутно предчувствовал, Гете видел лицом к лицу» [3, с. 149].

Но Мережковский указывает и на то, в чем Пушкин, по его мнению, превосходит Гете. «Пушкин менее сознателен, но зато, с другой стороны, ближе к сердцу природы». Если «осторожный» Гете редко или почти никогда не подходит к неостывшей лаве хаоса, не спускается в глубину первобытных страстей», то «Пушкин не боится своего демона, не заковывает его в рассудочные цепи, он борется и побеждает, давая ему полную свободу... Если бы его гений достиг полного развития, — кто знает? — не указал ли бы русский поэт до сих пор неоткрытые пути к художественному идеалу будущего — к высшему синтезу Шекспира и Гете» [3, с. 150]. Явление гармонического сочетания, равновесия двух начал, «редкое во всемирной литературе, а в русской единственное», Мережковский видит в Пушкине.

Он решительно оспаривал мнение тех, кто ставил Пушкина в связь не с Гете, а с Байроном. Пушкин «преодолеывает дисгармонию Байрона» [3, с. 103]. Он устремился дальше и выше в те ясные сферы всеобъемлющей гармонии, куда звал Гете и куда за Гете никто не имел силы пойти, кроме Пушкина [3, с. 148].

Охватывая взглядом эти наблюдения и сопоставления, нетрудно заметить, что существо философских и эстетических позиций Пушкина здесь охарактеризовано Мережковским лишь в самых общих и неопределенных очертаниях. Ими как бы устанавливается та система координат, в которой должно быть определено место, принадлежащее Пушкину. Значительно более детальное и глубокое представление о том, каким виделось Мережковскому своеобразие Пушкина, его значение для русской культуры и русской жизни проясняется, когда мы знакомимся с тем, как соотносится Пушкин с другими вершинами русской литературы XIX в., прежде всего с Гоголем, Толстым и Достоевским.

С грустной иронией говорит Мережковский о том, что его современники, в том числе пламенные и суеверные поклонники Пушкина, избегают и попыток найти в его поэзии «стройное мирозерцание, великую мысль»: «Его не сравнивают ни со Львом Толстым, ни с Достоевским: ведь те —